

ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ ИВАНА В РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО
"БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ"

Ф. Богнар

Согласно миропониманию древних евреев в мире господствует гармония, добродетельная жизнь еще здесь, на земле награждается. Иов со своей семьей живет счастливо, богатства его постоянно увеличиваются. Но когда его стада падают, когда он теряет своих детей, окружающие его люди уверены в том, что избранник Бога сильно согрешил. У Платона тоже неотделимы друг от друга мысль о взаимозависимости счастья и добродетели и уверенность в существовании нравственного миропорядка: Сократ в "Защитительной речи" говорит о том, что с хорошим человеком не может произойти ничего дурного ни в жизни, ни в смерти, и боги не забудут о его делах.

По мнению Декарта - свои мысли, касающиеся этого вопроса, он излагает в письмах, адресованных княгине Елизавете - человек может достигнуть гармонии между добродетелью и довольством только в самом себе, и мы должны принять к сведению, что в мире и правильный выбор может обернуться к худшему. Поэтому нам надо отмежевать круг тех дел, которые Бог поручил свободному выбору человека, от круга тех дел, над которыми мы не властны. Значит, французский мыслитель XVII века выделяет из мироздания самостоятельную часть бытия, которую провидение объявляет суверенной территорией свободной воли. Декарт еще окружает человеческую автономию метафизической защитной стеной. Но человек XVIII века не только полностью отказывается от такой защиты, но даже считает и само представление о заранее установленном миропорядке недостойным человека. Дефиниция Канта о Просвещении учитывает прежде всего религиозную действительность, так как именно в этой области "несовершеннолетие" человека было самым унижительным для него как для разумного существа: "Auf-

klärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!"[†]

Признание отсутствия предустановленного миропорядка поначалу действовало как освобождающая сила: оно наделило беспримерным достоинством пробудившегося к самосознанию человека, который начал применять свои умственные силы везде и ко всему, ведь человек предназначен для того, чтобы быть творцом самого себя и своего мира. В сознании своего исключительного достоинства он мог патетически отказаться и от стремления к счастью. Но ища смысл своего существования, он все яснее видел, каким проблематичным стало положение человека в мире без предустановленного миропорядка.

Иван Карамазов - герой Достоевского, берущий на себя задачу восстановления миропорядка - тоже полагает, что его волей управляют решения разума, на правильность которых он вправе полагаться, ведь уже в детстве он очень точно определяет свое положение, видит свою подчиненность среде: "...он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они

[†] I. Kant. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: Kants Werke /Akademie-Textausgabe/. Band VIII. Walter de Gruyter und Co. Berlin, 1968. p. 35. /"Просвещение есть преодоление человеком своего несовершеннолетия. Несовершеннолетие — неспособность к тому, чтобы мыслить без руководства кого-либо другого. Человек сам виновен в своем несовершеннолетии, если причиной его является не слабость умственного развития, а отсутствие решимости и смелости жить собственным умом. Sapere aude! дерзай опираться на собственный разум!" - перевод наш./

все-таки в чужой семье и на чужих милостях и что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно." /т. 14, с. 15/⁺ Насколько это для него возможно, он порывает с родственными связями, предпочитая в первые два года в университете лучше жить впроголодь, но содержать себя на собственный заработок. Он и в дальнейшем старается сделать себя независимым от среды и материальных забот. Алеша прав, когда считает в споре с Ракитиным, что его брат не интересуется ни деньгами, ни славой, а что он должен разрешить проблемы для достижения душевного равновесия. Характерно, что в то время, как мы довольно много узнаем о внешности других действующих лиц романа, "вымышленный" автор ничего не сообщает о фигуре, физиономии, волосах Ивана, подчеркивая этим его интеллектуальность и духовность. На его решения не оказывают никакого влияния чувства: он испытывает отвращение к отцу, уже почти ненавидит старшего брата, Митю, но все-таки, хотя он и признает право на существование чувственного желания /ведь он отвечает Алеше на его вопрос, имеет ли право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить, а кто недостоин: "К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчет права, так кто же не имеет права желать? /.../ А хотя бы даже и смерти? К чему же лгать пред собою, когда все люди так живут, а пожалуй, так и не могут иначе жить." - т. 14, с. 131/, в своих управляемых умом поступках он не намерен разрешить убийство.

⁺ Цитаты приводятся по "Полному собранию сочинений Ф.М. Достоевского в тридцати томах". Том 14, 15. Изд-во "Наука", Л., 1976.

Статья Ивана, написанная о церковно-общественном суде, является произведением такого автора, который хочет верить в возможность создания целостного и основанного на рационалистических основах мира: он отвергает отделение церкви от государства; по его мнению, церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол. Если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно должно быть поставлено прямой и главной целью всего дальнейшего развития христианского общества. Выражая свои мысли на чуждом для него языке догматики, он отчасти вводит в заблуждение своих слушателей, собравшихся в келье Зосимы; в сущности Иван не признает проникающего все бытие раздвоения, которому мышление XIX века должно смотреть в глаза: он игнорирует мистическую основу церкви, а относительно государства он не признает его дурной - собственно говоря, тоже иррациональной - деспотической власти над людьми. Так как Иван не верит в осуществимость своей идеи, его теория под покровом теологии дает почувствовать, что достижение гармонического миропорядка может основываться только на лжи, потому что - по мнению Ивана - в человечестве нет силы жить добродетелями даже и в том случае, если оно не верит в бессмертие души. Идеи либерализма - спетые с чужого голоса Ракитиным Алеше - идеи свободы, равенства и братства не могут служить основой для морали: напрасно хочет Иван съездить в Европу, он знает, что поедет лишь на кладбище, где лежат все-таки дорогие для него покойники, и каждый камень над ними гласит об их горячей минувшей жизни, о страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку.

Подобно Ивану размышляет и Фетюкович, защитник Дмитрия, когда он просит оправдания своего клиента во имя секуляризованной христианской идеи: "Господа присяжные, вот мы осудим

его, и он скажет себе: "Эти люди ничего не сделали для судьбы моей, для воспитания, для образования моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня человеком. Эти люди не накормили и не напоили меня, и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток". Вот что он скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклипать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем, чтобы спасти и возродить его душу навеки? Если так, то подавите его вашим милосердием! Вы увидите, вы услышите, как вздрогнет и ужаснется душа его: "Мне ли снести эту милость, мне ли столько любви, я ли достоин ее", - вот что он воскликнет!" /т. 15, с. 172—173/ Ипполит Кириллович, представитель обвинения, согласно окаменелой традиции отвергает "настоящее христианство, уже проверенное анализом рассудка и здравых понятий" /т. 15, с. 174/, но говоря: "О, подавите его милосердием," - восклицает защитник, а преступнику только того и надо, и завтра же все увидят, как он будет подавлен!" /т. 15, с. 174/, он не замечает, что его традиционность, основанная на авторитете, и придерживающаяся формы, как и приемлемый для ума 'облик Христа' Фетюковича и его поверхностный гуманизм, отрицают человечность человека. Первому окостенелые предрассудки препятствуют верить в возрождение Мити, а другой предполагает, что человек предопределен средой.

Иван тоже отказывается от бессмысленных привычек, от тра-

диций, так как они - будучи законами дедов и прадедов, для которых эти правила были рационалистически обоснованы, - потеряв в наши дни свой фундамент, ставят преграду индивидууму в развертывании его личности: "Совесь! Что совесь? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги." /т. 15, с. 87/ В то же время он интуитивно чувствует необходимость этих традиций, обеспечивающих единство, непрерывность существования человеческого рода: "Это он говорил, это он говорил!" - добавляет Иван к цитируемым выше словам черта, этим уже словно отгораживаясь от их содержания. Он, в сущности, совестливый человек. Иван не признает правоту Смердякова, когда тот - тоже разбирая теологический вопрос: грешно ли, если человек отрекается от христианства в целях спасения своей жизни - снимает с себя бремя ответственности: "...рассудите сами, что раз я попал к мучителям рода христианского в плен и требуют они от меня имя божие проклясть и от святого крещения своего отказаться, то я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо никакого тут и греха не будет. /.../ Ибо едва только я скажу мучителям: "Нет, я не христианин и истинного бога моего проклинаю", как тотчас же я самым высшим божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от церкви святой отлучен совершенно как бы иноязычником, так даже, что в тот же миг-с - не то что как только произнесу, а только что подумаю произнести, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет-с, как я отлучен. /.../ А коли я уж не христианин, то, значит, я и не солгал мучителям, когда они спрашивали: "Христианин я или не христианин", ибо я уже был самим богом совлечен моего христианства, по причине одного лишь замысла и прежде чем даже слово успел мое молвить мучителям. А коли я уже разжалован, то каким же манером и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете как с христианина за то,

что я отрекся Христа, тогда как я за помышление только одно, еще до отречения, был уже крещения моего совлечен? Коли я уж не христианин, значит, я и не могу от Христа отречься, ибо не от чего тогда мне и отречься будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, Григорий Васильевич, хотя бы и в небесах, за то, что он не христианином родился /.../?" /т. 14, с. 118—119/ - ошеломляет Смердяков своим словоизвержением Григория Васильевича. Смердяков, забывая о том, что человек существует во времени, думает, что нет никакой связи между прошлым и настоящим, все служит настоящему, моменту, значит, мораль есть задерживающий жизнь факт, лишний балласт, поэтому не надо считаться с ней, а надо избавиться от нее - так понимает Смердяков тезис Ивана "все позволено". Иван же протестует против лишения человека жизни именно из-за своей совестливости; и Алеша, и Дмитрий знают о честности своего брата, в этом они видят причину его мучений и томлений, это признает даже черт, двойник Ивана: "ты совестливый человек" /т. 15, с. 80/ - говорит он ему. Конечно, не случайно, что выполняющему роль борца за свободу Ивану совесть - этот предел свободы -, кажется трусостью. Но ведь его раздвоенность указывает на необходимость в отчете перед самим собой, точнее говоря, на сознание моральной ответственности за себя и за человечество.

Вследствие своей совестливости Иван не старается подтвердить справедливость своих принципов и воззрений практикой, и можно отнести к его чрезвычайной моральной восприимчивости и то, что он мыслит не логическими конструкциями, а литературными образами своей поэмы. Несомненно, что история великого инквизитора, привлекающая внимание многих исследователей, занимает с точки зрения развития характера Ивана центральное место в романе.

Страдания невинных детей и для Алеши доказывают отсут-

ствие морального порядка. Совершенно бессмысленно и непонятно, почему должен погибнуть грудной ребенок на штыках сладострастных солдат, или почему нужно напускать на ни в чем неповинного мальчика ловчих собак. Иван убежден в том, что он должен сделать что-то для осуществления гармонии, но в то же время он чувствует, что - хотя он призван к этому - его эвклидовский ум недостаточен для создания порядка, он ничего не может сделать с переживаемой им иррациональностью бытия: если и осуществится в будущем гармония на земле, что он будет делать с безвинно страдавшими в прошлом малышами? Иван, хотя и предчувствует неразрешимость своей задачи, невозможность восстановления единства, все же берется за этот сизифов труд, сознавая свою ответственность за мир. Монументальность концепции Ивана и грандиозность его плана доказывают не только все его примеры, охватывающие целый мир, учитывающие и страдания детей, но и сам статус его героя, великого инквизитора, стоящего над нациями и объединяющего народы.

Конечно, Ивану уже не приходит в голову, что можно достигнуть гармонии ценой нарушения норм нравственности: "Скажи мне сам прямо, - говорит Иван младшему брату - я зову тебя - отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно крохотное создание, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулачком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!" /т. 14, с. 223—224/ Ответ Алеши - тихое, но, решительное "нет". Но Иван все же не может полностью освободиться от мысли о том, что в интересах человечества дозволено временное отрицание моральных законов, хотя это и

ведет к разрушению собственной личности. Чрезвычайно сильная привязанность к жизни только повышает героизм такой готовности: "...не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования - а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!" /т. 14, с. 209/ Иван так же говорит Алеше: "Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова. Можно ли жить бунтом, а я хочу жить." /т. 14, с. 223/

И если готовность Ивана принести жертву нуждается в одобрении, то во введении поэмы фигурирует сам Бог. В интерпретации Ивана в отличие от Богородицы он является носителем ограниченного земным измерением разума, он не дает помилования грешникам, указывая на пригвожденные руки и ноги сына; и только по мольбе Марии он останавливает муки грешников от великой пятницы до троицына дня каждого года. Гармонию, купленную ценой страдания безвинного, не может принять даже и сам Бог: человек сам должен сделать свой мир таким, чтобы в нем можно было жить.

В то время, как по мнению Ницше, задача человечества заключается в продуцировании совершенного индивидуума /Übermensch/ человеческого рода, Достоевский по-другому видит положение героя подобного типа; избранник существует для других, он должен взять на себя невыносимое для народа бремя. Но возникает вопрос, нуждаются ли люди в жертве инквизитора? Кажется, что нет: люди принимают предложенный и фальсифицированный инквизитором идеал только потому, что - будучи укорененными в жизни - они не нуждаются ни в настоящем идеале, ни, надо признаться, в идеале инквизитора. Инквизитор же, как и Иван, живет почти одной, ставшей самосто-

ятельной, идеей, и если он потеряет ее, он останется ни с чем. Он не имеет никаких личных связей, нигде не может укорениться, не может орошать слезами землю и целовать ее, как Алеша. И если перед ним самим разоблачится его самообольщение, он окажется в совершенном одиночестве с абсурдной задачей: избавить самого себя от своего одиночества. Он должен остаться при своих старых взглядах, чтобы не погибнуть.

Тезис поэмы и, одновременно, заблуждение Ивана, - это то, что человека нельзя ставить перед неразрешимой задачей. Инквизитор испытал тяжелое бремя свободы, когда-то он тоже был в пустыне, где питался акридами и кореньями. Но он считает, что свобода невыносима для человека, и поэтому надо избавить людей от этого бремени. Парадоксальность его мышления раскрывается, когда он ставит себя над другими. Он не замечает и того, что свобода - грех - человек коррелятивные понятия. Именно "проклятый" дар свободы возлагает ответственность на человека за свои поступки, он показывает независимость индивидуума от среды и его власть над ней. Инквизитор считает себя призванным к тому, чтобы заботиться о других. Но когда он хочет уберечь человечность других, то это значит, что он не верит в человечность человека.

Христос не осуждает инквизитора, и он поступает так не из-за трусости. /"Суди нас, если можешь и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя." /т. 14, с. 237/ - говорит Иисусу инквизитор./ В ответ на вызов инквизитора "он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста." /т. 14, с. 239/ Но его поцелуй означает не только то, что он признает усилия инквизитора, но и является выражением сожаления и сострадания. Христос молчит, не реагирует ни на один из вопросов инквизитора: но он и не может ответить, ведь он уже все сказал, да ему ничего и не надо

прибавлять к своему учению; ему не надо ничего отвечать, ведь свобода исходит от него, и только он один мог осуществить ее; и, наконец, он ничего не говорит, потому что не хочет сделать окончательной возникшую через интеллектуализированное слово пропасть, зияющую между инквизитором и другими людьми. Суть Христа не в отчуждаемых от его личности речах, а в сотворении персональных связей. Он любит человечество не вообще, как Иван или инквизитор, а обращается всегда к определенному, конкретному лицу: он исцеляет женщину от кровотечения, потому что она прикоснулась к его одеждам, он берет за руку дочь Иаира, и она воскресает. Христос никогда не навязывает свою волю другому: он только в том случае наклоняется над человеком, если его просят об этом, если верят в него. Своими чудесами он не покоряет народ, а делает добро несчастным. Целуя инквизитора, он не хочет принудить его изменить взгляды, а признает его человечность, его страдание. Инквизитор чувствует захватывающую силу христового поведения, но не принимает его, отталкивается от него: он вздрагивает от поцелуя, который жжет его сердце; он отпускает Христа, но сам остается с прежней идеей.

Иван и в дальнейшем упорно убежден в непоколебимости своей автономности, хотя он и ощущает наличие таких фактов, которые он не способен осветить интеллектуально. После своего разговора с Алешей он понимает, что причина его тоски состоит не в том, что Алеша его не понял, а в том, что в его душу проник Смердяков. И что для Ивана совершенно непонятно, Смердяков даже берет верх над ним: Ивана раздражала окончательно отвратительная фамильярность, которую со дня на день все сильнее стал выказывать к нему слуга. "Не то чтоб он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков видимо стал считать себя бог знает

почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное." /т. 14, с. 243/ Иван не понимает, почему он беседует вежливо с лакеем, когда на языке у него вертится: "Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!" /т. 14, с. 244/; почему он сел опять на скамейку продолжить разговор, когда ему надо было бы с возмущением уйти, почему он едет в Чермашню, когда он собирался в Москву - и вдобавок к этому он против своей воли сообщает это Смердякову. Наконец, Иван не знает, что делать с предсказанной Смердяковым болезнью, с крепким сном Марфы Игнатьевны и Григория Васильевича. Только после смерти отца и показания Смердякова Иван понял, что слуга просил у него в сущности разрешения на убийство. Когда Иван припоминает события, не учитывая свою слабость и закабаленность своего ума, и оценивая свое поведение как автономное, он совершенно правомерно считает себя соучастником в убийстве отца. Смердяков усиливает это убеждение в Иване, используя его обостренное моральное чувство: "Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил." /т. 15, с. 59/

У Ивана не было намерения совершить убийство. Он, который чувствовал в себе призвание сделать что-то в интересах человечества, убивал без собственного ведома. Это уже только ирония судьбы, что суд отвергает его показание - именно во имя здравого ума, на который так надеялся Иван: суд и дальше считает Дмитрия виновным, а его сделанное без убеждения показание расценивает как попытку спасти брата принесенной жертвой. Вера Ивана в свою автономность, кото-

рой он всегда и любой ценой придерживался, предполагая в ней критерий своей человечности, и от которой он уже, даже если захочет, не может освободиться /"Ты вечно сердисься, тебе бы все только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то, только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и богу свечки ставить." /т. 15, с. 77/ - мучит дьявол Ивана/ разбилась. Прекрасное умственное начинание - эксперимент по восстановлению миропорядка без метафизических гарантий, считаемых унижительными для человека - терпит поражение: Иван сходит с ума. Главная причина неудачи Ивана лежит во внутренней противоречивости его мышления: он действует в интересах человечества, но не верит в человека, он любит человечество, но пренебрегает человеком. Алеша очень точно определяет суть парадоксальности его позиции: "Он никого не презирает. Он только никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает." /т. 15, с. 24/

В соответствии со своим воззрением - нет добродетели без веры в бессмертие души - Иван видит в человеке только стремление к злumu. Лиза воображает после чтения одной истории, что она распинает четырехлетнего мальчика и прибавляет его к стене гвоздями, и что она сидит против него и ест ананасный компот. Все это Лиза рассказывает Ивану, который, смеясь, одобряет ее: "это хорошо." /т. 15, с. 24/ Но Иван не знает о том, что Лиза, прочитав эту историю, всю ночь рыдала. Алеша тоже признает, что человек склонен к злumu, но в глубине души у него всегда живет стремление к добру, которое, одержав победу над злом, опять уступает место злumu. Лиза рассказывает виденный и Алешей сон: "мне иногда во сне снятся черти, будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется

войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать бога бранить, вот и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь - а они все назад." /т. 15, с. 23/

Конечно, Иван отвергает пошлый рационализм Смердякова. Иван никогда решительно не провозглашает принцип "все позволено". Если же этот тезис цитируется, и от него требуют отчета в его взглядах, то Иван произносит его всегда странно улыбаясь, смущенно, с раздражением, надеясь на то, что кто-нибудь опровергнет его; разговаривая с Зосимой, он откровенно выражает эту надежду. Ведь если "все позволено", то вследствие умирания совести, которая делает возможным осуществление свободы, но в то же время и ограничивает ее, свобода уступает место анархии, когда теряют смысл и становятся невозможными личные усилия, которые так нужны Ивану. Действуя по принципу "все позволено", Смердяков не только снимает с себя всю ответственность, но отказывается и от своего автономного права, от развертывания своей личности. Поэтому-то ему и надо получить разрешение от Ивана, и к нему относится определение Ивана: "таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил..." /т. 15, с. 84/

Чувственность Федора Павловича Карамазова препятствует ему владеть собственным "я". Кажется, что и Дмитрий - раб своих ничтожных страстей. Он называет себя низким, насекомым, которого бог наделил сладострастьем, падшим человеком, который летит в бездну головой вниз, вверх ногами, начиная в этом позорном падении петь гимн, потому что в его душе живут идеи красоты и добра. Дмитрий ощущает метафизическую

природу добра и зла, переживает амбивалентность человеческой души: "Тут дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей." /т. 14, с. 100/ Он должен признаться, что очищение, жажда более совершенной и невинной жизни остаются только желанием, потому что человек не владеет своей волей, зависит от законов, и даже полностью подчинен им. Дмитрию приходится осознать и то, что он не может вынести, не может принять залог новой жизни: страдание, безвинно взятое на себя наказание, потому что и его субъективная готовность имеет границы. Конечно, по мнению Ивана, слабость Дмитрия именно в том, что тот не в состоянии оторваться от своих естественных привязанностей. Но именно поэтому Дмитрий - единственный Карамазов, который готов на другую крайность, на полный отказ от своего "я": "Буду мужем ее /Грушеньки/, в супруги у Достоксья, а коль придет любовник, вйду в другую комнату. У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать..." /т. 14, с. 110/ В этом смысле и Алеша настоящий герой Достоевского, ему не приходит в голову отказаться от своей личности. Когда Лиза спрашивает его, будет ли он подчиняться ей во всем, Алеша отвечает: "С большою охотоЙ, Lise, и непременно, только не в самом главном. В самом главном, если вы будете со мной несогласны, то я все-таки сделаю, как мне долг велит." /т. 14, с. 200/ И Ивану, и инквизитору приходится отпустить Иисуса, потому что человек не в силах осуществить парадокс христового поведения: совершенно отказаться от своей личности и в то же время сохранить ее.

Зосима - в котором Иван находит достойного духовного партнера, и не случайно оберегает Алешу от старца - тоже переживает отсутствие единства бытия. Но если Иван хочет сделать жизнь приемлемой неприятием созданного богом мира,

превращением в абсолютное сознания ответственности, взятием на себя одного дела осуществления свободы - следовательно антигуманно -, рассчитывая на свою автономность, относясь к среде активно, то Зосима, сознавая пределы своего "я" и, таким образом, сохраняя свою личность, считает возможным достижение гармонии с помощью любви. Его учение - это программа, имеющая в виду суверенитет людей. Зосима - в отличие от Ивана и Фетюковича - верит в изменение, возрождение виновного. Поэтому он отвергает такие меры общественной защиты, которые оставляют без внимания субъективность преступника, и которые ограничиваются только формальными приговорами или механическим отсечением вредного для общества человека. По его мнению, если "что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести. /т. 14, с. 60/ Вследствие субъективизации нормы, конечно, уже нельзя говорить о снятии ответственности, как мы видели это у Смердякова. Не случайно, что Зосима не принуждает прошедшую пятьсот верст и убившую старого, жестокого мужа женщину покаяться в своем преступлении "на перекрестке", а побуждает ее к тому, чтобы все время поддерживать в себе чувство раскаяния. Ведь грех без раскаяния является препятствием восстанавливающей изначальное единство любви: "Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе - и все бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил божью любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а бо-

язнь отгони вовсе. Веруй, что бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоём любит. А об одном кащемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил, примиришь с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже божья... Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, кольми Паче бог. Любовь такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся. /т. 14, с. 48/ Задача вдовы нелегка, так как Зосима возлагает на нее не задачу общей любви к человечеству, а бремя деятельной любви.

Один доктор рассказывал Зосиме, что любит человечество, но с удивлением замечает в себе, что чем больше он любит человечество вообще, тем меньше любит людей порознь, как отдельных лиц. В мечтах он нередко доходил до страстных помыслов о служении человечеству. Между тем этот врач двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем он знает из опыта. Личность другого давит его самолюбие и стесняет его свободу. В одни сутки доктор мог даже лучшего человека возненавидеть. Однако всегда так происходило, что чем более он ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась его любовь к человечеству вообще.

Иван тоже не может понять, как можно любить своих ближних. По его мнению, именно ближнего невозможно любить, а только дальнего. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот был скрыт от нас, а чуть лишь он покажет свое лицо - пропала любовь.

И Зосима понимает, что деятельная любовь сравнительно

с созерцательной, есть строгое и тяжелое дело. Созерцательная любовь жаждет скорого, быстро совершаемого и всем видимого подвига. В таком случае люди доходят до того, что даже и жизнь отдадут, только бы ожидание не продлилось слишком долго. А деятельная любовь - это работа и выдержка, целая наука. Результатом этой любви - которая охватывает всю экзистенцию человека, требуя от личности совершенной активности - будет уверенность в существовании бога: "По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу." /т. 14, с. 52/ Если морально-теологическое понимание Ивана - нет добродетели без веры в бессмертие души - с его стороны парадоксально строит человеческую автономию на метафизической основе, следовательно, тем самым отрицая ее, то у Зосимы речь идет о противоположном: бытие бога обнаруживается сознательной деятельностью личности, осуществлением любви. Но Иван прав, когда предупреждает Алешу: "Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был бог. Но мы-то не боги". /т. 14, с. 216/ Зосима тоже знает, что такая любовь не может стать всеобщей из-за греховности мира, и она станет реальностью только после второго пришествия Христа. Но все-таки мы должны стремиться к ее осуществлению, потому что она есть предпосылка осмысленности существования, предпосылка счастья, которое уже есть не следствие предустановленного миропорядка, не условие, а результат усилий самого субъекта.

Иван отвергает предложенную Зосимой модель из-за ее утопичности: "Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую

гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было". /т. 14, с. 222/ Но он отвергает взгляды старца и потому, что он - европеец; дьявол, его другое "я", самый современный "герой" - хотя и не меньший рационалист, чем Иван - напрасно предупреждает его, что жизнь важнее ума. Иван не хочет считаться с его доводом о том, что с достижением гармонии присущая человеческому бытию способность человека рефлексировать на самого себя прекратит свое существование: "Друг мой, не в одном уме дело! /.../ Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен "отрицать"; между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. /.../ Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия." /т. 15, с. 76—77/